**Встреча**

Хорхе Луис Борхес

Пробегая утренние газеты, в них ищут забытья или темы для случайного вечернего разговора, поэтому стоит ли удивляться, что никто уже не помнит — а если и помнит, то как сон — о нашумевшем когда-то происшествии, героями которого были Манеко Уриарте и Дункан. Да и случилось это году в 1910-м, году кометы и столетия Войны за независимость, а все мы с тех пор слишком многое обрели и потеряли. Обоих участников давно уже нет в живых; свидетели же торжественно поклялись молчать. Я тоже поднимал руку, присягая, и чувствовал важность этого обряда со всей романтической серьезностью своих девяти-десяти лет. Не знаю, заметили ли остальные, что я давал слово; не знаю, насколько они сдержали свое. Как бы там ни было, вот мой рассказ со всеми неизбежными отклонениями, которыми он обязан истекшему времени и хорошей (или плохой) литературе.

В тот вечер мой двоюродный брат Лафинур взял меня отведать жаркого в «Лаврах» — загородном поместье кого-то из своих друзей. Не могу указать его точного расположения; пусть это будет один из тех зеленых и тихих северных пригородов, которые спускаются к реке и ничем не напоминают о громадной столице и окружающей ее равнине. Поезд шел так долго, что путь показался мне бесконечным, но, как известно, время для детей вообще течет медленней. Уже темнело, когда мы вошли в ворота поместья. Там, почудилось мне, все было древним, изначальным: аромат золотящегося мяса, деревья, собаки, хворост и объединивший мужчин костер.

Гостей я насчитал с дюжину, все — взрослые. Старшему, выяснилось потом, не было и тридцати. Каждый, как я вскоре понял, знал толк в предметах, на мой взгляд, не стоивших серьезного разговора: скаковых лошадях, костюмах, автомобилях, дорогих женщинах. Никто не подтрунивал над моей робостью, меня не замечали. Барашек, мастерски и без суеты приготовленный одним из пеонов, надолго занял нас в просторной столовой. Поговорили о выдержке вин. Нашлась гитара; брат, помню, спел «Старый дом» и «Гаучо» Элиаса Регулеса, а потом — несколько десим на жаргоне, непременном «лумфардо» тех лет, о ножевой драке в заведении на улице Хунин. Принесли кофе и сигары. О возвращении домой не было и речи. Я почувствовал (говоря словами Лугонеса) страх, что уже слишком поздно, но не решился посмотреть на часы. Чтобы скрыть свое одиночество ребенка среди взрослых, я без удовольствия проглотил бокал-другой. Уриарте громко предложил Дункану партию в покер один на один. Кто-то заметил, что это не слишком интересно, и убеждал сыграть вчетвером. Дункан согласился, но Уриарте, с упорством, которого я не понял и не попытался понять, стоял на своем. Кроме труко, когда, по сути, коротают время за проделками и стихами, и незатейливых лабиринтов пасьянса, я не любил карт. Никем не замеченный, я выскользнул из комнаты. Незнакомый и сумрачный особняк (свет горел только в столовой) говорит ребенку больше, чем неведомая страна — путешественнику. Шаг за шагом я обследовал комнаты; помню бильярдный зал, галерею с прямоугольниками и ромбами стеклышек, пару кресел-качалок и окно, за которым виднелась беседка. В темноте я потерял дорогу; наконец на меня наткнулся хозяин дома, по имени, сколько теперь помню, что-то вроде Асеведо или Асеваль. По доброте или из коллекционерского тщеславия он подвел меня к застекленному шкафу. При свете лампы блеснуло оружие. Там хранились ножи, побывавшие не в одной славной переделке. Он рассказал, что владеет клочком земли в окрестностях Пергамино и собрал все это, колеся по провинции. Открыв шкаф и не глядя на таблички, он поведал мне истории всех экспонатов, похожие одна на другую и различавшиеся разве что местом и временем. Я поинтересовался, нет ли среди них ножа Морейры, слывшего в ту пору образцом гаучо, как потом Мартин Фьерро и Дон Сегундо Сомбра. Он ответил, что такого нет, но есть другой, не хуже, с полукруглой крестовиной. Вдруг послышались возбужденные голоса. Он мигом закрыл шкаф, я бросился за ним.

Уриарте вопил, что партнер шельмует. Остальные сгрудились вокруг. Дункан, помню, возвышался надо всеми, крепкий, сутуловатый, с бесстрастным лицом и светлыми, почти белыми волосами; Манеко Уриарте был юркий, темноголовый, вероятно, не без индейской крови, с жидкими задорными усиками. Все были заметно пьяны; не скажу, вправду ли на полу валялись две-три пустые бутылки, или эта мнимая подробность навеяна моей страстью к кино. Уриарте не замолкал, бранясь поначалу язвительно, а потом и непристойно. Дункан, казалось, не слышал; в конце концов, словно устав, он поднялся и ткнул Уриарте кулаком. Очутившись на полу, Уриарте заорал, что не спустит обидчику, и вызвал Дункана на дуэль.

Тот отказался и прибавил, как бы оправдываясь:

— Дело в том, что я тебя боюсь.

Все расхохотались.

Уриарте, уже встав на ноги, отрезал:

— Драться, в сейчас же.

Кто-то — прости ему Бог — заметил, что оружие искать недалеко.

Не помню, кто открыл шкаф. Манеко Уриарте взял себе клинок поэффектнее и подлиннее, с полукруглой крестовиной; Дункан, почти не глядя, — нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика на лезвии. Выбрать меч, вставил кто-то, вполне в духе Манеко: он любит играть наверняка. Никто не удивился, что в этот миг его рука дрогнула; все были поражены, когда то же произошло с Дунканом.

Традиция требует, чтобы решившие драться уважали дом, где находятся, и покинули его. То ли в шутку, то ли всерьез мы вышли в сырую ночь. Я захмелел, но не от вина, а от приключения; мне хотелось, чтобы на моих глазах совершилось убийство и я мог рассказывать и помнить об этом. Кажется, в тот миг взрослые сравнялись со мной. И еще я почувствовал, как нас опрокинуло и понесло неумолимым водоворотом. Я не слишком верил в обвинения Манеко; все считали, что дело здесь в давней вражде, подогретой вином.

Мы прошли под деревьями, миновали беседку. Уриарте и Дункан шагали рядом; меня удивило, что они следят друг за другом, словно опасаясь подвоха. Обогнули лужайку. Дункан с мягкой решимостью уронил:

— Это место подойдет.

Двое замерли в центре. Голос крикнул:

— Бросьте вы эти железки, давайте врукопашную!

Но мужчины уже схватились. Сначала они двигались неуклюже, как будто боялись пораниться; сначала каждый смотрел на клинок другого, потом уже — только в глаза. Уриарте забыл свою вспыльчивость, Дункан — свое безучастье и презрение. Опасность преобразила их: теперь сражались не юноши, а мужчины. Я воображал себе схватку хаосом стали, но, оказалось, мог следить — или почти следить — за ней, словно это была шахматная партия. Конечно, годы подчеркнули или стерли то, что я тогда видел. Сколько это длилось, не помню; есть события, которые не умещаются в привычные мерки времени.

Вместо пончо, которыми в таких случаях заслоняются, они подставляли ударам локти. Вскоре исполосованные рукава потемнели от крови. Пожалуй, мы ошибались, считая их новичками в подобном фехтовании. Тут я заметил, что они ведут себя по-разному. Оружие было слишком неравным. Чтобы сократить разрыв, Дункан старался подойти ближе; Уриарте отступал, нанося длинные удары снизу. Тот же голос, который напомнил о шкафе, прокричал:

— Они убьют друг друга! Разнимите их!

Никто не двинулся с места. Уриарте попятился. Дункан атаковал. Тела их почти соприкасались. Нож Уриарте тянулся к лицу Дункана. Вдруг, словно укоротившись, вошел ему в грудь. Дункан вытянулся в траве. И прошептал, почти выдохнул:

— Как странно! Точно во сне.

Он не закрыл глаз и не шелохнулся. Я видел, как человек убил человека.

Манеко Уриарте склонился над мертвым, прося у него прощения. Он плакал, не скрываясь. То, что произошло, свершилось помимо него. Теперь я понимаю: он раскаивался не столько в злодеянии, сколько в бессмысленном поступке.

Смотреть на это не было сил. То, чего я так желал, случилось и раздавило меня. Потом Лафинур рассказывал, что им пришлось потрудиться, извлекая нож. Стали совещаться. Решили лгать как можно меньше и облагородить схватку на ножах, выдав ее за дуэль на шпагах. Четверо, включая Асеваля, предложили себя в секунданты. В Буэнос-Айресе все можно устроить: друзья есть везде.

На столе из каобы осталась куча английских карт и кредиток. Их не хотели ни трогать, ни замечать.

Позже я не раз подумывал довериться кому-нибудь из друзей, но снова чувствовал, насколько заманчивее владеть тайной, чем раскрывать ее. Году в 1929-м случайный разговор вдруг подтолкнул меня нарушить долгое молчание. Отставной полицейский комиссар дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках, заправлявших в низине Ретиро; этот народ, заметил он, не гнушался ничем, лишь бы одолеть соперника, но до Гутьерреса и братьев Подеста об открытых схватках здесь почти не слыхали. Я возразил, что был свидетелем одной из таких, и рассказал ему о событиях почти двадцатилетней давности.

Он слушал с профессиональным вниманием, а потом спросил:

— Вы уверены, что ни Уриарте, ни другой, как его там, раньше не брели ножа в руки? В конце концов, они могли чему-то научиться у себя в поместьях.

— Не думаю, — ответил я. — Все в тогдашней компании хорошо знали друг друга, но для всех это было полной неожиданностью.

Олаве продолжал, не спеша и словно размышляя вслух:

— Нож с полукруглой крестовиной... Прославились два таких ножа: Морейры и Хуана Альмады из Тапалькена.

Что-то ожило у меня в памяти. Дон Хосе добавил:

— Еще вы упомянули нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика. Таких известны тысячи, но один... — Он на минуту смолк и потом продолжил: — Имение сеньора Асеведо находилось в окрестностях Пергамино. По тем местам бродил в конце века еще один известный задира, Хуан Альманса. С первого своего убийства — в четырнадцать лет — он не расставался с таким коротким ножом: тот приносил ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмада терпеть не могли друг друга, видно, потому, что их путали. Они долго искали встречи, но так и не сошлись. Хуана Альмансу убило шальной пулей на каких-то выборах. Другой, кажется, умер своей смертью на больничной койке в Лас-Флорес.

Больше мы не обменялись ни словом. Каждый думал о своем.

Девять-десять теперь уже мертвых мужчин видели то, что и я видел своими глазами, — клинок, вошедший в тело, и тело, простертое под небом, — но, оказывается, мы видели завершение совсем другой, куда более давней истории. Это не Манеко Уриарте убил Дункана: в ту ночь сражались не люди, а клинки. Они покоились рядом, в одном шкафу, пока руки не разбудили их. Наверно, они шевельнулись в миг пробужденья; вот почему задрожала рука Уриарте, вот почему задрожала рука Дункана. Они знали толк в сражениях — они, а не их орудие, люди, — и сражались в ту ночь как должно. Давным-давно искали они друг друга на длинных дорогах захолустья и наконец встретились, когда носившие их гаучо уже обратились в прах. В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба.

Вещи переживают людей. И кто знает, завершилась ли их история, кто знает, не приведется ли им встретиться снова.